

АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВ

Крот истории в спячке: о закате марксистской теории истории в послесталинском СССР¹

Светлой памяти Антона Свещникова (1968–2021).



Александр Дмитриев
(р. 1973) – исследователь,
сотрудник лаборатории истории науки
и техники Федеральной политехнической школы
в Лозанне (EPFL, Швейцария).

Основной тезис статьи: марксистская теория в 1970-е по обе стороны «железного занавеса» развивалась – в смысле «интеллектуальной гегемонии», по Грамши, – ровно противоположным образом²: если на Западе недавние активисты 1968 года и их единомышленники все больше проникали в академический мейнстрим, то в СССР, как и на востоке Европы, недогматический марксизм так или иначе терял своих бывших искренних, не по обязанности сторонников из среды обществоведов, по-настоящему – по «гамбургскому счету» – сильных. Почему?

Мой вариант объяснения: как очень общая схема всемирно-исторического развития марксизм при Брежневе и Хрущеве продолжал быть значимым и востребованным – отчасти по инерции, отчасти из-за трудности выхода «за флажки» или по незнанию иных теорий, – но переменялся его практический вектор. «Действенная объяснительная сила» теории в приложении именно к «обществу реального социализма» не работала: рабочий класс (возможно, за исключением Польши) не становился субъектом перемен, а интеллигенция (вне цензурного контроля) оказывала предпочтение скорее уже не марксистским, а в 1980-е все чаще – даже не левым идеям. А ведь марксизм первой трети XX века во всех его видах – от Бернштейна и Каутского до Лукача или Сталина – был построен на переводе историософской схематики в политическую практику, на связи двух этих сторон «всепобеждающего учения»: теории прогресса и классовой политики «в интересах трудящихся»³.

1 Выражаю искреннюю признательность Андрею Зорину, Михаилу Велижеву и Тимуру Атнашеву за возможность обсудить положения этой статьи на семинаре по интеллектуальной истории в РАНХиГС в феврале 2018 года.

2 Ср.: *Встреча: Мераб Мамардашвили – Луи Альтюссер*. М.: Фонд Мераба Мамардашвили, 2016.

3 См. важную статью о самой метафоре «крота истории»: Будрайтскис И.Б. *Semper in motu: марксизм и метафора «старого крота»* // Социология власти. 2016. № 2. С. 35–61. Этот же образ сотрудник журнала «Вопросы философии», публицист и литератор Владимир Кормер (1939–1986) использовал в заглавии тамиздатского романа конца 1970-х: КОРМЕР В. *Крот истории, или Революция в республике S = F*. Paris: YMKA-press, 1979.

В промежуток между серединой 1950-х и концом 1960-х оживление разных форм марксистской мысли к востоку от тогда же построенной Берлинской стены было связано с поисками некапиталистической альтернативы успешного индустриального и, шире, общественного развития. А после 1968 года и танков в Праге (и атаки Тито и Кадара на марксизм «Праксиса» или учеников Лукача) даже самые утонченные и свободные от вульгаризации разработки марксистской социальной философии в открытой печати все равно тщательно сторонились прямой «политики», особенно трактовок актуального положения государственного социализма. И попытки рассуждать о «потенциале революционного действия» марксизма за предписанными рамками примерно до 1987 года в СССР были весьма гипотетическими, непубличными и в заострении небезопасными. Собственно, желающих напрямую, вопреки прописям из партийных докладов и учебников преобразовывать теоретические схемы в постулаты политического действия оказывалось совсем немного: это очень быстро заканчивалось как минимумом допросом в КГБ (что и случалось в московской интеллигентской среде 1970-х и начала 1980-х)⁴. Течения троцкистского типа с артикулированной критикой господствующей системы слева, на языке «подлинного ленинизма» в позднем СССР хотя и существовали, но были весьма слабы⁵. Идеи такого рода оказались во время перемен второй половины 1980-х показательно беспомощны политически (будь то политэкономы из «Марксистской платформы» в КПСС накануне краха или печатавшийся на Западе в левой печати Борис Кагарлицкий). По сути, советский полуофициальный марксизм (и теория истории как его ядро) был формой идейных представлений «прогрессивного» интеллектуального слоя, со всей амбивалентностью этого реформизма. И в плане социальной философии это был очень странный, как бы намеренно анемичный, точнее, аполитичный и в силу этого, по сути, обреченный на исчезновение – вместе со своей цензурной рамкой – марксизм.

Но внутри советского официального истмата, даже в широком понимании, ни линия «правды людей труда», ни линия просветительской утопии «хорошего общества» интеллектуалов⁶

- 4 Самым громким оказалось дело «молодых социалистов» начала 1980-х (Андрея Фадына, Павла Кудюкина, Бориса Кагарлицкого и других), связанных с академическими институтами: Черкасов П.П. *ИМЭМО: портрет на фоне эпохи*. М., 2004. Гл. 9 («ИМЭМО под ударом (1982 год)»). С. 490–530.
- 5 Казаков Е.А., Рублев Д.И. «Колесо истории не вертелось, оно скатывалось». *Левое подполье в Ленинграде, 1975–1982* // Неприкосновенный запас. 2013. № 5(91). С. 156–175; Козлов Д.С. *Две революции, две составные части политического инакомыслия эпохи «оттепели»* // Социология власти. 2017. № 2. С. 153–177.
- 6 См.: Шенкман Б. *Духовное производство и его своеобразие* // Вопросы философии. 1966. № 12. С. 113–123; *Борис Работт: шестидесятник, которого не услышали. Статьи. Интервью. Воспоминания*. М.: Р. Валент, 2012.

не могли быть артикулированы в чистом виде, хотя обе они довольно хорошо различимы для тогдашних наблюдателей на Западе или в околодиссидентских кругах. Идеи социальной справедливости (условно первый тип) оказались уже к середине 1980-х апроприированы «уравнителями»-сталинистами (символом этого направления может быть назван Ричард Косолапов), а установки второго типа под лозунгом «возврата в лоно цивилизации» свелись в конечном счете к отказу от идей равенства в пользу неограниченной свободы предпринимательства (тут подходящее воплощение – Александр Ципко)⁷. Но что объединяло двух этих теоретиков – точнее, стоящие за ними «мыслительные линии» – в предыдущие четверть века? Какая идейная рамка, помимо цензурных требований, удерживала их вместе?

Главный импульс моих размышлений – попытка хотя бы в самых общих формах очертить последние фазы эволюции «академического марксизма», сложившегося в СССР к концу 1930-х в весьма специфических социальных и идеологических условиях. Сложилась ли в СССР своя – пусть и очень рыхлая – общая научная и мировоззренческая парадигма как способ видения и описания социальных и исторических процессов, связанная с идеями Маркса и при этом отличимая от идеологической догматики официального марксизма-ленинизма? Можно предположить, что эта общая программа десталинизированного марксизма сопоставима с восточноевропейскими «проторевизионистскими», а затем и с диссидентскими философскими школами вроде «Праксиса» в Югославии, «будапештской школы» учеников Дьёрдя Лукача, единомышленников Лешека Колаковского в Польше⁸, Карла Косика в Чехословакии, Петера Рубена в ГДР. В роли же наиболее масштабных фигур в истории послевоенной советской философии принято упоминать Мераба Мамардашвили, Эвальда Ильенкова и (в последнее десятилетие) Михаила Лифшица или даже Бориса Поршнева. Из всех перечисленных, пожалуй, только Ильенкову удалось уже к концу 1960-х сформулировать контуры связанной с классическим марксизмом и мировоззренчески заостренной «методологической программы», в центре которой лежит деятельностное пони-

7 Ср.: Косолапов Р.И. *Социализм. К вопросам теории*. М.: Мысль, 1979; Ципко А.С. *Некоторые философские аспекты теории социализма*. М., 1983. Я не согласен с точкой зрения Сергея Алымова о советских «реформаторах» как потенциальных поборниках неолиберализма, изложенной им в хорошо документированной статье: Алымов С.С. *О личностях и элементах: позднесоветская социальная философия от марксистского гуманизма к идее Homo sovieticus* // Антропологический форум. 2020. № 47. С. 11–52. Перенос восточноевропейской схемы эволюции «бывших неомарксистов» на советскую почву (SHORE M. *Caviar and Ashes: A Warsaw Generation's Life and Death in Marxism, 1918–1968*. New Haven: Yale University Press, 2006; ВОСКМАН J. *Markets in the Name of Socialism*. Stanford: Stanford University Press, 2011) требует слишком большого числа оговорок и дополнений.

8 См.: Туманин В. *Ежи Топольский как историк. Автореф... дис. кан. ист. наук*. Казань, 2003.

мание сознания и реконцептуализация идей «диалектической логики». Это давало выход и на иные гуманитарные дисциплины, в первую очередь психологию и педагогику. И если к середине 1980-х связанная с идеями Ильенкова постановка базовых проблем во многом потеснила старый схоластический диамат (особенно в стенах академического Института философии), то с истматом в СССР схожего переосмысления/усложнения не произошло – точнее, близкие оттепельные импульсы здесь явно реализовалось по-иному. В тесной связи с новым пониманием общества, включая и его исторические формообразования, читались и методологические работы Мераба Мамардашвили⁹ (включая критику Сартра), и проблемные выступления Генриха Батищева о Марксовой «родовой сущности» человека.

Почему в советской философии и теории истории не случилось своего Ильенкова – крупного мыслителя, сочетавшего бы верность Марксу с готовностью по-новому описать открытый основоположником «континент истории» (Луи Альтюссер)? Самый простой и в целом верный ответ на этот вопрос – неизбежный советский акцент на идеологическую, легитимирующую, а не критическую сторону марксизма, общая идейная стагнация восточного блока, особенно после разгрома Пражской весны. Ведь теория формаций куда ближе к острым и политически заряженным вопросам о социальных основах советского строя, неравенстве, эксплуатации и так далее, чем академическая теория деятельности (или анализ идеального). Но только ли Суслов или Трапезников – известный своим дремучим сталинизмом глава Отдела науки и учебных заведений ЦК в 1965–1983 годах, давний протеже Брежнева – виноваты в довольно бесславном «загнивании» советского истмата?

Советский истмат даже не в самых кондовых его версиях был не просто системой идей (которую в 1970-е думали систематизировать, логически выверить модным «методом восхождения от абстрактного к конкретному», собирали специальные совещания молодых философов и так далее¹⁰). Это еще и преподаваемый во всех вузах страны обязательный курс и масса занятых преподавателей, система повышения квалификации, столичные и региональные сборники статей, обязательные разделы в журналах... И в то же время заметно, что с 1960-х и историки, и социологи, и этнографы пытаются выработать собственные цеховые методологии, независимые (хотя и без деклараций о суверенитете) от исторического материализма.

9 См.: Соколов Е. *Философия передовиц. Мераб Мамардашвили как советский философ* // Логос. 2017. № 6 (<https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-peredovits-merab-mamardashvili-kak-sovetskiy-filosof/viewer>).

10 Наиболее утонченные версии истмата представлены, пожалуй, у Карена Момджяна: Момджян К.Х. *Категории исторического материализма: системность, развитие*. М., 1986. Более расхожей и дидактически ориентированной была попытка систематизации у Владимира Барулина: БАРУЛИН В.С. *Исторический материализм: современные тенденции развития*. М.: Мысль, 1986.

В последние годы Александр Бикбов и его последователи пытаются продуктивно переосмыслить историю советской философии и обществознания как утонченную и непрямую манифестацию происходящих в СССР социальных перемен и эволюции диспозитивов правительности, политики населения и так далее. В этих перспективных эскизах пока, на наш взгляд, недостаточно учтено академическое наполнение процессов «нормализации» и обуржуазивания¹¹ советского общества. В статье речь пойдет о масштабных образах прошлого и теории истории (а не о философии вообще или гуманитаристике в целом), поскольку именно этот ряд сюжетов – далеко не случайно – как будто выпал из поля зрения как в «советологической» истории идей, так и в цеховой истории исторической науки. Теория истории будет пониматься нами в нескольких различающихся по важности, но взаимосвязанных регистрах: в первую очередь как общая концептуализация исторического процесса (или отдельных его фаз); во-вторых, как теория исторического знания; в-третьих, как историософия, или эстетика истории.

Развитие исторической мысли в 1950–1980-е не было, конечно, делом только академических специалистов: в советских условиях на магистральные вехи осознания прошлого влияли и писатели, и деятели культуры (например Леонид Леонов или Сергей Эйзенштейн), но в еще большей степени – руководители идеологических подразделений ЦК КПСС или авторы установочных учебников. Но, в отличие от притязаний на теоретические новации 1920-х или 1930-х, исходивших от политиков первого ранга – Бухарина или Сталина, – новые руководители советской идеологии или кураторы обществоведческих дисциплин были не творцами, но «хранителями ортодоксии»: аккуратными и умеренными специалистами¹² или бывшими партчиновниками, спущенными в более спокойные научные заводы – часто в роли академиков-секретарей соответствующих отделений Академии наук (Михаил Храпченко, Марк Митин, Петр Федосеев, Леонид Ильичев или Федор Константинов). Несмотря на то, что три последних академика оставили после себя труды, так или иначе связанные с историческим материализмом, их сочинения редко упоминались даже в сугубо схоластической литературе или вне ритуального цитирования. Мы не будем упоминать и выходящие «за края» допускаемых дискуссий слишком специальные работы Аверинцева, Баткина а также авторов политического и художественного сам- и тамиздата – ведь ненапечатанными или «рассыпанными» оказался и ряд трудов вполне конвенцио-

11 См.: Бикбов А.Т. *Тематизация личности как индикатор скрытой буржуазности в обществе зрелого социализма // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге.* М.: Модест Колеров, 2007.

12 MITRONIN N. *Back-office Михаила Суслова, или Кем и как производилась идеология брежневского времени // Cahiers du monde russe.* 2013. Vol. 54. № 3-4. P. 409–440.

нальных обществоведов (например сборник к столетию Ленина со статьей Багищева в секторе методологии истории у Михаила Гелфтера – о котором речь пойдет чуть ниже).

За три послесталинских десятилетия в развитии советской теории истории можно в первом приближении выделить три главных полосы развития.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ
КРОТ ИСТОРИИ В СПЯЧКЕ...

В советских условиях на магистральные вехи осознания прошлого влияли и писатели, и деятели культуры, но в еще большей степени – руководители идеологических подразделений ЦК КПСС или авторы установочных учебников.

В первое десятилетие после смерти Сталина споры по обшей исторической проблематике преимущественно развивались вокруг формационных проблем (или периодизации исторического процесса); часть историков пыталась опереться на политэкономические схемы как последнюю инстанцию в обрисовке исторических закономерностей¹³. В плане историографии в начале 1960-х уровень задавали труды по истории метода – посмертно изданный курс лекций Евгения Косминского¹⁴; ряд работ уже немолодого, весьма знающего и методологически консервативного ленинградского медиевиста Осипа Вайнштейна¹⁵; написанный Игорем Коном очерк новых тенденций в западной философии истории¹⁶, который все же явно уступал давней книге Валентина Асмуса «Маркс и буржуазный историзм» (1933). Характерно, что сам Асмус с начала 1940-х совершенно ушел в чистую историю философии, почти не касаясь прежних социально-философских сюжетов (отчасти эту связь общественных дебатов и историко-философских споров пыталась реализовать в первой половине 1970-х Нелли Мотрошилова).

Толчком в поисках новых теоретических решений стал импульс к усилению идеологической работы в связи с идеей ускоренного коммунистического строительства и одновременно растущая взаимосвязь советского обществоведения с мировой наукой. Сейчас эти тенденции могут казаться противоположно направленными в привычной дихотомии «пропаганда vs.

13 Юдельсон А. *Методологический поиск советских историков в 1960-е гг.: к вопросу об «оттаявшем» во время историографической «оттепели»* // *Образ историографии*. М.: РГГУ, 2001. С. 147–172.

14 Косминский Е. А. *Историография Средних веков (V – середина XIX века)*. М., 1963.

15 См., например: Вайнштейн О. Л. *Теоретические дисциплины истории* // *Труды ЛОИИ*. Т. 10. Ленинград, 1967. С. 7–29.

16 Кон И. С. *Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли*. М., 1959 (полное издание: Кон И. С. *Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Kritischer Abriss. Bd. I–II*. Berlin, 1964).

чистое знание», но в повседневной деятельности советского гуманитария рубежа 1950–1960-х эти полюса были взаимосвязаны и опосредованы друг другом (под знаком востребованности и самореализации). Примером внешнего – властного – импульса может служить работа ученых новой формации над базовым синтетическим и пространственным учебником «Основы марксизма-ленинизма» в конце 1950-х и созыв Всесоюзного совещания по проблемам исторической науки (1962), где главным докладчиком был Борис Пономарев – секретарь ЦК по связям с западными компартиями и редактор новых очерков по истории КПСС, заменивших «Краткий курс».

1960-е стали, вероятно, последним десятилетием синхронного развития марксистской теории по обе стороны «железного занавеса», где главной пружиной оказалось столкновение гуманистического историзма со структуралистскими моделями. При этом соперничающие течения внутри самой марксистской традиции опирались в первом случае на антропологический подход молодого Маркса, а во втором, напротив, – на идеи «Капитала» как образцового сочинения по эпистемологии.

Созданный в академическом Институте истории сектор методологии (во главе с Михаилом Гефтером) и организационное формирование советской социологии (исторической проблематике там были близки Игорь Кон и Юрий Левада), а также активизация коллег-истматчиков из Института философии (Владислав Келле) обеспечили институциональный контур формирования новой теории истории. В Томском университете новый центр изучения историографии и методологии истории (с периодическим выпуском альманаха) основал московский медиевист Александр Данилов; этому амбициозному ученому предстоит сыграть противоречивую и в конечном плане негативную роль в развитии советской медиевистики. Но, наверное, решающим для пересмотра привычных схем «пятичленки» в середине 1960-х стало вмешательство востоковедов и отчасти этнографов: именно они инициировали вторую (после 1920–1930-х) дискуссию об азиатском способе производства, которая ставила под вопрос многие устоявшиеся схемы истмата. Яркими и неординарными были коллективные труды сектора Гефтера «Проблемы истории докапиталистических обществ» (1968) и «Историческая наука и некоторые проблемы современности» (1969). Одной из последних попыток общего и философского, и историко-теоретического смотра марксизма стала книга «Наследие Карла Маркса и проблемы теории общественно-экономической информации» (1974), над которой вместе с истматчиком Келле работали неординарный интерпретатор Канта Юрий Борода и бывший помощник престарелого академика

Деборина¹⁷, историк русской революционной мысли XIX века Евгений Плимак. В этой книге авторы пытались акцентировать многообразие социальных форм в рамках главной Марксовой идеи трех больших «мегаформаций» и, в частности, проблематизировать привычные схемы разложения феодализма как основы будущего буржуазного строя¹⁸. Разумеется, рассуждения о преодоленном в СССР капитализме или выработка идеи «развитого социализма» так или иначе затрагивали не только сугубо теоретические темы, но и вполне злободневные проблемы советского общества: споры с китайской, албанской и югославской компартиями, а позднее и упреки сторонников «еврокоммунизма» в адрес советского прошлого и настоящего.

С рубежа 1960–1970-х сам оттепельный марксизм находится под огнем обвинений в ревизионизме со стороны не столько бдительных чиновников из ЦК, сколько защитников ортодоксии «снизу» – партийных коллег-ученых, приверженных старым положениям. Критика Левады, с его увлечением структурным функционализмом, официальное опровержение тезиса Гефтера о многоукладности дореволюционной России, попытка проработать «Вопросы философии» со стороны активистов из Академии общественных наук при ЦК КПСС, критика «товарников» в политэкономии и атака на структуралистов от истории (статья Данилова в журнале «Коммунист»¹⁹) были не столько скоординированными нападками сталинистов²⁰, сколько попытками подморозить поисковые теоретические увлечения, способные «далеко завести» нелояльных обществоведов-интеллигентов – в ситуации растущего диссидентского движения, с оглядкой на уроки Пражской весны. Но важно отметить, что никакого не допускающего «неоднозначных трактовок» сводного курса или учебника «застойного марксизма», по которому были бы обязаны равняться все обществоведы, так и не появилось.

В плане проблематики исторического сознания и образа истории конца 1960-х обязательно нужно отметить выполнен-

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ
КРОТ ИСТОРИИ В СПЯЧКЕ...

17 Близкий к Плеханову Абрам Деборин, один из изобретателей термина «диалектический материализм» еще до 1917 года, стараниями молодых выдвиженцев-сталинистов вроде Митина и Юдина был подвергнут опале в 1930–1931 годах и увенчан ярлыком главы «меньшевиствующего идеализма». Вопреки всем поношениям Деборин сохранил и жизнь, и кресло академика, а в конце 1950-х, после писем Хрущеву, ему даже удалось издать три компилятивных и мало кем замеченных тома «Социально-политические учения нового и новейшего времени» (М., 1958–1967).

18 Плимак Е. Г. *К характеристике некоторых закономерностей движения буржуазных революций // Принцип историзма в познании социальных явлений*. М.: Наука, 1972. С. 233–287.

19 Данилов А. И. *К вопросу о методологии исторической науки* // Коммунист. 1969. № 5. С. 68–81.

20 Нередко за ними видят фигуру секретаря Московского горкома КПСС по идеологии Владимира Ягодкина (ранее секретаря парткома МГУ), который явно пытался сделать карьеру на волне критики ревизионизма – как и Валентин Маланчук в Киеве, слишком ревностный украинский секретарь Компартии Украины по идеологии. Эти двое ортодоксов во второй половине 1970-х были заменены на своих постах людьми более серыми и гибкими.

ную в Институте философии – но не в секторе исторического материализма! – коллективную работу «Философские проблемы исторической науки», где были напечатаны статьи Юрия Левады об историческом сознании, его заместителя Михаила Виткина о месте Востока в классическом марксизме, Арсения Гулыги о научности истории, Игоря Кона о теории «охватывающих законов» Карла Гемпеля. В плане историософии не менее важную роль, чем монография Асмуса о Марксе и «буржуазном историзме» 1933 года, сыграло расширенное переиздание в 1972-м громкого антимодернистского манифеста Михаила Лифшица о Марксе, искусстве и общественном идеале.

Победа ортодоксов к середине 1970-х оказалась пирровой: в последующее десятилетие марксизм постепенно переставал быть значимым для новых поколений гуманитариев и обществоведов. Зачем специалисту с интересом к социальной теории ставить на сложный и утонченный марксизм Адорно или журнала «Телос», когда перед ним на полках ИНИОН простирается огромное и едва ли толком освоенное пространство чохом ругаемой, но уже не запретной западной теории, где те, кого считают буржуазными мыслителями, куда представительней ершистых детей 1968 года. И гораздо более важной, чем обновление марксизма, стала казаться задача спокойного освоения этого общего поля (повторяя порой ритуальные лозунги про «обострение идеологической борьбы»), нежели только одного его левого участка с риском быть обвиненным в ревизионизме. Суммирующие истматовские книги начала 1980-х (Келле и Ковальзона «Теория и история» или трехтомная «Марксистско-ленинская теория исторического процесса»²¹) – в отличие от трудов Юрия Давыдова или Арона Гуревича, при всем их различии, просто перестали читаться теми, кому не нужно было делать ссылки в диссертациях по обществознанию или научному коммунизму. Эти официальные опусы явно не брали в руки и практикующие историки, даже достаточно лояльные к марксизму-ленинизму: им хватало теории от своих прямых начальников-академиков 1970-х вроде Евгения Жукова или Юлиана Бромляя, которых тоже переставали цитировать.

На мой взгляд, явно недостаточно объяснять утрату интереса ведущих советских гуманитариев к наследию Маркса в 1970-е только усилением внешнего цензурного давления и наступлением «ортодоксов». Внутреннее оскудение исторического материализма в его советском варианте особенно сказалось даже не на лозунговых его изводах вроде научного коммунизма и рассуждений о всемирно-исторической миссии рабочего класса (где на помощь могло прийти хотя бы эхо Лукача 1920-х), но

21 См. о ее редакторе: *Жизнь, отданная науке: Ю.К. Плетников – творческое наследие, воспоминания, документы*. М.: Канон+, 2017.

на самом ядре теории: про такие базовые категории, как социальная форма движения материи, переосмысление способа производства или детерминизм исторических законов, с начала 1970-х брались писать только самые закоряченные «идеологические виртуозы» из поколения бывших фронтовиков – но при этом не сталинысты. Более того, именно на этом «нулевом уровне» доктрины во времена Брежнева охотней всего осваивались подновления марксизма или популярные системные подходы, синергетика и экология или, например, поиск «исходной клеточки» категорий истмата вплоть до теории парадигм Томаса Куна.

В рамках теории исторического процесса остановленное переосмысление теории формаций уже к середине 1970-х было переключено в плоскость типологического анализа переходных эпох или региональных проявлений: подлинным мастером терминологических ухищрений оказался явно напуганный атакой Данилова в самом конце 1960-х бывший «структуралист» от всеобщей истории Михаил Барг. Но его итоговые методологические книги и статьи (в соавторстве с Ефимом Черняком)²² устаревали сразу к моменту их появления. Даже на уровне пресловутого «базиса» изучение экономических структур довольно плохо стыковалось с описанием социальных движений, и явно не работы виртуозов истмата давали думающим историкам 1970-х ключи к синтезу экономического и социального, которого уже мало кто искал на уровне типологий. Работы Барга и Черняка, написанные между 1970-м и 1988 годами, охотно и отчасти самокритично замененные самими авторами на изучение цивилизаций на излете перестройки, оказались «мертвой водой» для историко-теоретического поиска и уж точно не могли ничего дать в плане философии и эстетики истории. Книга «Эпохи и идеи» (1987) Барга тоже опоздала – она появилась тогда, когда советскому читателю в переводах был уже доступен и Коллингвуд, и Фуко, а в ИНИОН появились и русские переводы Макса Вебера. На смену философии истории от Левады и шестидесятников с середины 1970-х приходят скорее авторы общих пособий для историков-студентов по методологии исторического знания.

Ядром в освещении общественных процессов и даже местом синтеза экономики и социального становится культура, которая понимается шире, чем «только» надстройка. О рецепции культуры советскими гуманитариями того времени уже написан ряд интересных статей. Важно отметить, что, в отличие от 1960-х, историки последующих лет перестали читать не толь-

22 См., например: БАРГ М.А. *Категории и методы исторической науки*. М.: Наука, 1984; БАРГ М.А., ЧЕРНЯК Е.Б. *Регион как категория внутренней типологии классово-антагонистических формаций. Проблемы социально-экономических формаций*. М., 1975.

ко авторов статей про исторический материализм, но также и неординарных советских и марксистских философов-культуроведов или теоретиков «духовного производства». Почему? Скорее всего потому, что у историков 1970-х уже была своя культура – то ли от школы Анналов и Хейзинги, то ли от Карсавина и Милюкова, но в еще большей степени – от нефилософов Юрия Лотмана, Сергея Аверинцева, Дмитрия Лихачева и Александра Панченко. А в плане эстетики истории очень существенным было и влияние Владимира Библиера как автора книги «Мышление и творчество» (1975) и неформального руководителя влиятельных домашних семинаров, внимательного – и пишущего! – собеседника Арона Гуревича и Леонида Баткина²³.

В этой книге Библиера замечательный и тонкий пассаж о диалектике «совместного» и «всеобщего» труда в «Капитале» и «Грундриссе» остался как будто висящим в воздухе, как и вскрытие «превращенных форм», по Марксу, у Мераба Мамардашвили почти десятилетием раньше. Эта неожиданная и потенциально исторически богатая социология знания очень быстро превратилась в апологию самодетерминации и, в конечном счете, асоциального «новоевропейского субъекта». Бахтин или Пруст оказались для выдающихся советских мыслителей куда важнее Грамши или Альтюссера (то же задним числом случилось и с марксистом Выготским); и в этом не стоит сейчас видеть предательство «четвертого сословия», как кажется кому-то из нынешних наблюдателей. Для историков философии попытка использовать Марксово понятие «объективных мыслительных форм» сказалось скорее на возможностях заниматься почти табуированными ранее темами вроде связей протестантизма с генезисом философии Нового времени. Но при этом сами важнейшие категории вроде «буржуазного сознания» большинству специалистов представлялись как дань навязшей в зубах риторике, а не аналитическими инструментами²⁴.

Уже с начала 1970-х из исканий гуманитариев и обществоведов исчезает прежний интерес к марксведению²⁵: ни со-

23 См.: БИБЛЕР В.С. *Исторический факт как фрагмент действительности. Логические заметки // Источниковедение: теоретические и методические проблемы*. М., 1969. С. 89–101. Он же. *Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного диалога)*. М.: Политиздат, 1975. О Баткине и его равнодушии к официальной теории культуры см. даже у Вадима Межуева: ДМИТРИЕВ А. *Бахтин и марксизм, или Снова об «уютности культуры»* // Новое литературное обозрение. 2019. № 6. С. 122–143.

24 Немалый интерес представляют разнообразные публикации и оставшиеся в архиве работы ростовского философа Михаила Петрова 1960–1980-х годов и их соотношение с «оттепельным» марксизмом. См.: ПЕТРОВ М.К., ПОТЕМКИН А.В. *Относительная самостоятельность науки // Социология науки*. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1968. С. 35–61. ПЕТРОВ М.К. *Предмет и цели изучения истории философии // Вопросы философии*. 1969. № 2. С. 126–136.

25 См. мемуары Бориса Тартаковского, исследователя биографии Энгельса в Институте марксизма-ленинизма: ТАРТАКОВСКИЙ Б.Г. *Все это было: воспоминания об исчезающем поколении*. М.: АИРО-XX, 2005.

ветские серьезные работы о «самих» Марксе или Энгельсе или непереуверенные «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» Маркса, ни сочинения западных альтюссеррианцев или их критиков (аналитических марксистов вроде Барри Хиндеса и Пола Хёрста или британских «историков снизу» Эдварда Томпсона и Реймонда Уильямса) не вдохновляют коллег на новые поиски марксистского «философского камня». Обществоведы уже в 1970-е стали брать общий набросок социального прогресса из западных теорий модернизации (мейнстримных или критических) – откуда, к примеру, раннеперестроечные новации вроде трех эшелонов капитализма. «Интегрализм», попытки соединить в духе 1920-х политэкономию с теорией деятельности и философией истории – вне заимствования неомарксизма – остается обреченным уделом или новичков-аспирантов, или разнообразных «зубров» из 1960-х²⁶. Так называемый «творческий» – но отнюдь не диссидентский! – марксизм в советском обществоведении с середины 1970-х выживает скорее за счет внутренней или внешней периферии.

Вне Москвы и Питера работали историк революций XIX века Рэм Блюм в Тарту, круг Геннадия Бурбулиса в Свердловске, философы Владимир Кутырев и Владилен Израитель в Горьком, социолог Захар Файнбург в Перми²⁷. В столицах на долю «ищущих» оставалась рецепция мир-системного подхода Валлерстайна, теорий зависимости или идеи Теодора Шанина о позднем Марксе, разговоры о латиноамериканцах и востоковедах как пионерах цивилизационных подходов²⁸. Отчасти возвращение «цивилизации» в арсенал советского марксизма связано с деятельностью одного из брежневских речеписцев Вадима Загладина, который вставил в один из докладов тезис о «новом типе цивилизации» (отчасти могла сказаться и тема очередного всемирного философского конгресса). Как и в случае с популярностью Парсонса или Мертона, а не Адорно, у советских социологов быть/оставаться марксистом именно в аналитическом модусе для мыслящих советских историков начала 1980-х заведомо означало ограничиться узкими мыслительными ходами, размечая свой материал прошлого по весьма сложным и дисциплинарно чужим политэкономическим или социально-философским лекалам. Гораздо проще было руководствовать-

- 26** Отчасти схожей была деятельность Геннадия Поспелова в постсталинской теории литературы: его «реверверзевский» или «плекхановский» багаж в 1960-е весьма отличался от гегелевских или бахтинских устремлений молодых теоретиков литературы из Института мировой литературы.
- 27** Лейбович О. *Диалектическая концепция социализма Захара Файнбурга* // *Toros*. 2013. № 1. С. 69–86; Лооне Э.Н. *Методологические заметки о теории общественно-экономических формаций*. Тарту, 1969; Израитель В.Я. *Проблемы формационного анализа общественного развития*. Горький, 1975; и так далее.
- 28** Шемякин Я.Г. *Проблема цивилизации в советской научной литературе 60–80-х годов* // *История СССР*. 1991. № 5. С. 84–101.

ся позитивистскими ориентирами, для видимости защищаясь в предисловиях нужными цитатами или самыми общими положениями, а также осваивать современную западную литературу, давно махнув рукой на все разговоры о «буржуазной науке» или «борьбе идей».

Быть/оставаться марксистом для мыслящих советских историков начала 1980-х означало ограничиться узкими мыслительными ходами, размечая свой материал прошлого по весьма сложным и дисциплинарно чужим политэкономическим или социально-философским лекалам.

Особая роль выпала востоковедческим исследованиям и подспудно формирующейся в СССР политической науке или теории международных отношений²⁹. Свернутые в начале 1970-х по указанию сверху дебаты об азиатском способе производства слишком вызывающе отсылали (особенно у заграничных авторов) к опыту строительства социализма методами государственного принуждения. Вышедшие в 1990-е работы востоковедов старших поколений со сложным и нюансированным изложением теории формаций, которые суммировали старые споры рубежа 1960–1970-х, остались в тени куда менее мудреных книг с «отодвигающей в архив» критикой марксизма³⁰. Интересно, что у реформистского крыла советских речеписцев (Федор Бурлацкий, Александр Бовин, Георгий Шахназаров) с начала 1970-х присутствовал явный интерес к политологии; Шахназаров даже участвовал в международных форумах по политическим наукам и широко печатал опровержения западной футурологии; на западном же материале ставились вопросы эволюции «буржуазных обществ» вне навязчивой риторики классовой борьбы – и в Институте мировой экономики и международных отношений, и даже в специально созданном для изучения рабочего движения Институте международного рабочего движения.

29 Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. *Социология. Политика. Международные отношения*. М.: Международные отношения, 1974; Сморгунов Л.В. *Региональные политологические сообщества в советское время* // Политическая наука. 2015. № 3. С. 125–137; *Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного* / Ответ. ред. Л.И. Рейснер, Н.А. Симония. М.: Наука, 1984.

30 Ср.: Рейснер Л.И. *Цивилизация и способ общения*. М.: Наука, 1993; Илюшечкин В.П. *Теория стадийного развития общества*. М.: Восточная литература, 1996; Крылов В.В. *Теория формаций*. М.: Восточная литература, 1997; Дьяконов И.М. *Пути истории: от древнейшего человека до наших дней*. М., 1994. См. также анализ работы Всеволода Вильчека «Алгоритмы истории»: Хут Л.Р. *Алгоритмы Вильчека, или Российский интеллект в эпоху перемен* // Диалог со временем. 2009. № 28. С. 148–165.

Те, кто нестандартно ставил социально-философские проблемы на материале Нового времени, медиевистики или востоковедения еще до перестройки (Григорий Водолазов, Эрих Соловьев или Дмитрий Фурман³¹, Александр Ципко, Игорь Клямкин, Александр Ахиезер), в начале 1980-х не составляли «единого фронта». Важно отметить – за исключением близкого к Ильенкову Водолазова, никто из перечисленных авторов не отстаивал свою марксистскую идентичность после 1989 года³². Тех, кого можно было считать неофициальными марксистами времен застоя, уже после перестройки оказались или западниками-либералами (Клямкин, Библер), или давно или недавно поправевшими почвенниками-консерваторами (Бородай, Гулыга, Фурсов³³). А вот третьего пути – за исключением отдельных казусов – не вышло: в отсутствие влиятельной социал-демократии в политике, или новых левых, крен многих бывших свободомыслящих марксистов в сторону советской ностальгии был почти неизбежен. Бывший набор основных правил видения «нашего развития» и истории человечества в целом – «средний путь» постулатов про общественные сферы, первичность материального бытия при важности духовного производства и так далее и тому подобное, – который удерживал четверть века в одной идейной обойме и ястребов ждановизма, и сторонников протолиберального прогрессизма, этот вектор оказался достоянием прошлого. Кроме совсем маргинальных работ (вроде сочинений Леонида Гринина), советские истматовские премудрости 1970-х оказались в новом веке, по сути, забытыми.

Из-за отсутствия в СССР реальной политической борьбы от социальной философии марксизма могла быть востребована только самая абстрактная часть (или эпистемологическая, или протозекзистенциалистская), а классовый – точнее, социальный – анализ «движущих сил», обычно лишенный революционного заострения, всегда был развернут или в прошлое, или на Запад и в «третий мир». Что же касается самой марксистской критики реального советского общества – например, в духе Джиласа, – то она оставалась уделом не социологов или историков, и тем более не истматчиков, но диссидентов или, после 1987 года, ревнителей «непосредственно-общественного производства» и протосталинистов, озабоченных выявлением «советской буржуазии» – но ничуть не изменивших общий вектор политического поворота. Недолгие попытки

31 И Соловьев, и Фурман были авторами весьма новаторской для своего времени коллективной монографии «Философия эпохи ранних буржуазных революций» (1984).

32 Водолазов Г.Г. *Диалектика и революция (методологические проблемы социальной революции)*. М., 1975; Он же. *Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные судьбы*. М., 2006.

33 Фурсов А.И. *Революция как имманентная форма развития европейского исторического субъекта // 200 лет французской революции. Французский ежегодник. 1987*. М.: Наука, 1989. С. 278–330.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ
КРОТ ИСТОРИИ В СПЯЧКЕ...

«внутримарксистской» интерпретации советского опыта времен ранней перестройки (у Леонида Гордона или Захара Файнбурга, например) были маргинализированы сокрушительной критикой именно доктринальных корней социалистического эксперимента. Советский истмат остался скорее в структурах учебников по социальной философии (у того же Карена Момджяна) или в нечастых обращениях историков к стадильным подходам, довольно мало значимых вне очень локального педагогического контекста. Крота истории взялись разбудить уже новые поколения марксистски ориентированных обществоведов и политических активистов 2010-х, которым Жижек или Джеймисон были ближе и даже понятнее Библера, Карла Кантора или Гефтера.